

Константин Кравцов
На север от скифов

Константин Кравцов

На север от скифов

Москва

«Воймега»

2013

УДК 821.161.1-1 Кравцов
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
К77

Художник серии: Сергей Труханов

К. Кравцов
К77 На север от скифов. — М.: Воймега, 2013. — 72 с.

ISBN 978-5-7640-0143-2

Книга издана при поддержке Алексея Коровина.

© К. Кравцов, текст, 2013
© С. Труханов, оформление, 2013
© «Воймега», 2013

По направлению к раю

Говоря о поэзии, написанной священником (в тех немногих случаях, когда такой разговор возможен: о Константина Кравцова, о Сергия Круглова, о Стефана Красовицкого), приходится сделать несколько оговорок и больше к этому не возвращаться. Два эти ремесла, овладевающие одним человекотелом (человекотекстом), кажется, должны сильно мешать друг другу. Одно настаивает на существовании и торжестве одной, и исключительной, *определённости* — другое, кажется, существует только в ситуации тревожащего, меняющего точки опоры незнания — из которого и доносится голос поэта, его «воплъ тоски великой». Со-существование священника и поэта (один отчётливо говорит своё «да», другой только и умеет, что отвечать вопросом на любой ответ) — само по себе проблема или задача; в случае Константина Кравцова, однако, её можно считать решённой, и вот как. Священника здесь, кажется, вовсе не видно — однако смысловое поле этих стихов идёт в рост лишь в присутствии Нового Завета. Вопрос, которым задаётся Кравцов, — вопрос о спасении; его, на разных уровнях и этажах, решает каждое стихотворение этой книги и то многоэтажное единство, которое она составляет:

Свет проникает сквозь толщу
Вод подо льдом, всё повязано светом:
Воды над твердью и воды под твердью — всё было повязано светом,
И лилии, «Евины слёзы», как их называют евреи,
Замёрзшие лилии те, опадавшие, как пелены
С четвергдневного Лазаря, — Лазарь, как вышел-то он,
По рукам и ногам пеленами повитый? Но вышел, его развязали,
И смотрит, покойник, на сброшенные пелены, словно Кифа — на те,
В золотистой опалине.

Мне посчастливилось прочитать какие-то из этих стихов, когда они были отдельно стоящими стихотворениями, не подозревающими о том, что им пред-

стоит страстись в книгу; другие — когда они были строчками или мотивами (из которых потом, как пузырь или купол парашюта, раздулось сложное, устроенное как живой организм, с внутренними коридорами и анфиладами, целое). Версия, которую мы с вами читаем сейчас, то ли пятая, то ли восьмая по счёту, — и то, что мы держим «На север от скифов» в руках, вовсе не значит, что книгу можно считать законченной (написанной — да).

То, как она написана, и то, как вообще устроен процесс письма у о. Константина Кравцова, кажется мне страшно важным. Автор, который не желает расстаться с текстом, картиной, партитурой, требуя от неё состояния (невозможного) равенства с замыслом, — сюжет, доведённый до точки кипения в XIX веке и, казалось бы, отставленный в сторону XX с его кульгом мастерства и любовью к сделанной вещи. Стихи, написанные и отставленные в сторону, как отходы производства, побочный продукт, полученный в ходе большой работы, — более привычный, что ли, сегодня способ письма. В большинстве известных мне случаев это устроено именно так: либо стихи рассыпаются по одному, как камешки мальчика-с-пальчик, либо авторский корпус текстов прирастает разноокрашенными слоями: книжка на книжку, персона на персону.

В этом смысле тексты Кравцова совершенно имперсональны: кажется, что единственная задача, которую ставит перед собой автор, — добиться от себя (как от записывающего устройства) максимальной точности в передаче. Чего? Сообщения, имеющего быть доставленным; или, верней, информации о том, как обстоят дела. Такой точности (на счету каждая буква, любая погрешность может изменить результат) могли бы добиваться авторы путеводителей, описывая свой вечно меняющийся предмет. В этой (встань-и-иди) парадигме должны были бы размещаться стихи Кравцова, и читать их, как мне кажется, правильно с учётом старой (и едва ли однозначно доброй) традиции: разного рода посмертных и досмертных хождений, путешествий, видений, не делающих различия между тем и этим светом. О какого бы рода неведомом, невиданном или невидимом ни шла речь, у текста здесь одна функция: он работает чем-то вроде зажжённого фонарика, выделяя (в тёмной комнате незнания) участки увиденного и населяя их событиями. И важно не перепутать — и, если надо, вовремя вернуться и сделать поправки. Именно так, с точностью картографа или диагноста, осуществляется визионерская поэзия Константина Кравцова. И поэтому она пишется так, как пишется: поверх себя самой, сама себя зачёркивая, исправляя и дополняя: «Не поёт, но летит, пригвождённая к арфе, / Летит, засыпает на дыбе, летит и не движется с места, / Летит и никак не уснёт».

Читателей Кравцова, тех, кто любит его стихи, следит за публикациями и ждёт новых, этот способ письма может и тревожить — потому что к каждому из сброшенных по пути (пустая-клетка-позади) вариантов ты привык и жил с ним, — но ещё и потому, что какие-то из перемен кажутся необъяснимыми или микроскопическими и хочется понять, чем руководствовался автор, кроме уверенности в вещах невидимых, кроме своего «так надо» и «так есть». Но и этого достаточно: Кравцов имеет дело с неподвижной (и бесконечно сложной) натурой, на предельной степени увеличения обнаруживая всё новые полости, ячейки, муравьиные ходы, сокрытые двигатели. В этой одержимости точностью, правильным поворотом решётки звука и смысла действительно было бы нечто пугающее (неспособность отпустить, своего рода столпничество перед видением, медленно и неохотно раздвигающим створки) — если бы речь не шла о рае. В этом смысле Кравцов работает Сведенборгом или Даниил-Андреевым, не «автором» в любом из доступных нам толкований, а — информатором, исследователем, едва ли не репортёром. Может быть, так понятней, почему он отворачивается от успеха, от любого «сделано» ради очередной серии поправок, перестановок, наводок на резкость.

Но странный это рай: босховский, сведенборговский, недвусмысленно северный (до прозрачности выбеленный незаходящим солнцем) мир, словно муха в стекле или янтаре, замерший перед неизбежным концом при свете постистории — и уже почти замещённый проросшими, как ячмень, ростками будущей жизни. Вечность здесь странноватая, в цветах и огнях («русалки воскликнули «вау!»), с искажёнными пропорциями и заломленными руками, с пьяными рылами и цинковыми гробами. И сам рай маньеристский, заражённый памятью о грехе и сквозь грех смутно светящийся. Сосуществование, одновременное присутствие того и этого, тления и бессмертия, моментальный снимок чуда и распада — то, что можно было бы назвать сюжетом этой книги, если бы у неё были границы, начало и конец. Тут ведь ещё вот какая проблема: то, что притворяется книгой стихотворений, на самом деле таковой не является — стихотворение здесь не единица, как и сама книга (хотя она пишется, *становится* буквально на наших глазах), — а часть большого, заведомо большего целого. И поэтому границы между отдельными вещами нет (или она фиктивна, и образы и строчки свободно перебредают туда-сюда, словно все они связаны между собой разветвлённой и нежной системой). Собственно говоря, то, что делает Кравцов, — образцовый символистский текст, не желающий быть только текстом, «искусством-только»: зверь, занесённый в Красную книгу и давным-давно не виданный в наших краях.

Глаз на ладони, река в Хиросиме, куда сбегается, чтоб умереть
В воде, а не в пекле, палёное мясо, камень глупости, корабль дураков —
Корабль абортированных социумом, выброшенных вон
На отправленную вплавь помойку,
«Лазоревый цвет» калик переходящих, Лазарь, что плыл бы, живи он
В средневековой Европе, по матушке Сене-реке,
А не сидел бы сиднем, собирая вокруг себя бродячих собак,
У крыльца некоего богача, спутники, яблоки глаз, глазные яблоки,
Яблоки мандрагоры, — Лубберт Дасс боится,
Что не успеет застенографировать этот поток, эти воды
Вскрывшейся реки, слабо мерцающие предносящиеся связи,
И пишет на первом попавшемся клочке...

Поэт-символист: мы, кажется, помним, какие риски с этим связаны, но едва ли знали, какая это сложная, кропотливая, на отшибе делающаяся работа. Место Кравцова в текущей словесности — особое; при внешней вовлечённости он всё время остаётся где-то около, сбоку, в стороне от общего движения. Оно, может быть, и правильно — не вполне понятно, как соотносить способ существования в литературе, который демонстрирует эта книга, даже не с литературной жизнью — про неё неинтересно, — но с так называемым полем и тем, что в нём делается. В этом, очень определённом, смысле Кравцов не литератор, и не только потому, что его вовсе не волнует, как сейчас носят. За его текстами, за его большим-текстом стоит усилие реального дела (это когда поэзия имеет смысл поступка и ею можно двигать горы или ломать двери — и уж в любом случае получить точное знание о том, как оно там). В этом смысле работа на севере от скифов и впрямь ничем не отличается от священнического служения (или от работы врача, учителя или пекаря): она продиктована необходимостью. Мало кто и что сегодня может этим похвастаться.

Мария Степанова

I

Selva oscura

На середине жизни мы в смерти.
Пасхальный гимн, XIII век

Утратив правый путь во тьме долины,
Увидеть, продираясь через лес,
Как маленькие лютни, мандолины
Висят окрест те в платьницах, те без:
Крючки и кружева, ручьи муслина,
Бегущие в страну святых чудес,
Небесных тел — сквозь наши палестины.

Куда ни глянь — процессия, процесс,
Везде, Иероним, твои кувшины —
Корнями вверх!.. И солнцем залит лес.

Стоящие в огне сомкнули спины
Среди руин пылающих АЭС,
И пьёшь ручьи замёрзшего муслина,
Крючки глотая: в платьницах и без
Взошли светила — лютни, мандолины,
И в смерти мы, и солнцем залит лес.

Цветочные человечки

Марии Степановой

Босха цветочные человечки, ещё не просохли
Их земляничные стрелки, их цепелины не стёрты
Из памяти вод, устриц гирлянды
Ещё не сорвало с алмазной оси.

Кто он, ныряльщик, ныряющий в прорубь?
В самом ли деле он ищет жемчужин?

Огненная Земля, а за ней — Антарктида,
Мыс Горн, а за ним — Антарктида
И лагерные оркестранты.

Мульттики после Освенцима — мульттики, клипы, волос питьевое
Золото и искривлённые зодиакальные спицы
Заячьей карусели.

Волна набежит — всколыхнутся
Водоросли на стекле, но что там за солнце взошло и льдистый
Единорога кровавит рог? Чей там над полем
Кружится бантик? И для кого расцвели незабудки
У трансформаторной будки?

В траве человек совсем как кузнечик,
Ещё человек, ещё и ещё: колени и локти —
Точки опоры, все наги, наги, как на медосмотре,
Наги все и не стыдятся, над огненной стоя рекой.

Точки опоры, опорные пункты и сборные пункты
Соборного самосознания в снегу, бантик над полем,
На лилии смотрит в бинокль полевой командир:
Что там за люди? И что там за солнце взошло?

Геи, опричники, хоругвеносцы — лучистое, мультикультурное
Босх лицезрит человечество: новых людей
На новой земле — не *полых людей*, а цветочных
Тающих человечков —

На длинных волнах

Северного Возрождения он был ценителем
И Сальвадора Дали, мой напарник,
Игорь Аверин, сопля на погонах, ефрейтор
Внутренних войск; горячий
На Новый год шоколад и французское радио —
Музыка, только музыка, ни слова по-русски
И ни помех, ни глушилок, цинковый гроб
Видели лишь однажды:
Колёс наглотался сержант из муззвода,
Лежал весь синий, как белая ночь.

Ленинские те комнаты, красные уголки,
Красная оркестровая яма где-нибудь в Афганистане,
Походные иконостасы с членами Политбюро,
Например, Арвид Янович Пельше; жизнь пройдёт —
Будешь помнить: звали его Арвид Янович,
Этого Пельше! Старый латышский стрелок,
Где он теперь? Где скитается со всей настойчивостью,
Всем упорством утраченной памяти?
Всё позабыл он в белой ночи
С её подозрительной синевой,
Позабыл, где врата Козерога, где Рака, где выход
Из летнего в зимнее солнцестоянье и наоборот.

Музыка, только музыка, юные сюрреалистки пришли
С головами-цветами к святому Антонию:
Синие бабочки, синие и голубые, с глазами на крыльях,
Плывущие по коридору, а мы —
Мы стоим, как стояли, в огне.

Перья страуса, перья колышутся
Над запорошенным микрорайоном, огни —
То, должно быть, Нерон зажигает свои факела,
Нет, наверно, не он, не великий артист,
А какой-нибудь пьяный фонарщик с планеты людей,
Невернувшийся лётчик...

Уточки-мандаринки плывут, авва Антоний беседует с черепом:
Чей ты? откуда? И тот: ярус на ярусе в пламени сём
На плечах друг у друга стоим, ни Серапис, ни Митра
Нам не подмога, а ниже — епископы, архимандриты...

Как звали того сержанта? И можно ли было
Воздвигнуть из этих камней
Детей Аврааму? Тундра, старик, ничего, кроме тундры,
С могилами разумом быстрых Невтонов, Платонов, и где они, где,
Врата Козерога? Уточка-мандаринка
Из неизреченного Дао Любви, воробей из ступки
Клюёт торопливо рис, резвится в ручье жеребёнок,
И водяная крыса между корней прошмыгнула, локоть
Девственницы, повернувшейся задом к Дали,
И рога носорожки, и ветер над морем в открытом окне,
Её локоны, зад и окно — тает мороженым на солнцепёке
Мираж над утренним настом: шли стрельбы,
Я нежное место чуть не отморозил,
И огненный трассер красиво ушёл в молоко.

А политрук Мальвина с его тенорком, лейтенант наш Молев?
Клёши с лампасом (гнался за модой, отстал лет на десять),
Учится и всё никак не научится материться:
Рота!.. блять... И зардеется, как красна девица.
Можно ли было воздвигнуть из этих камней
Пусть не крепость, но крепостцу хотя бы?

— Сдам квартиру двум девушкам, трём не сдам — годы не те! —
Говорящее Русское Радио, рекламная его служба
И мёд облаков, кровь с молоком и мёд облаков —
Взорванная голова переполнена облаками
В бесперспективном пространстве, пылает
Полярный Урал Сальвадора Дали на границе оккупационной
Зоны Альянса и отошедшей Китаю Сибири,
Дом восходящего солнца, стоим,
Объятые пламенем, синим огнём, стоим, как стояли,
Спина к спине, и перья страуса, перья колышутся
Над головами-цветами во льду.

Превратился ли он в журавля, тот полковник?
Стоит он в расстёгнутых брюках, мысль его бьётся,
Как в тесной печурке огонь: согреших, честный отче...
Я мстил ей за наших ребят... И ещё пусть докажут, козлы!

Ночью медведка зацокала лапами по деревянному полу,
Пришла, веретенообразное брюшко, бурое сверху,
Оливковый фосфор — внизу, крылья её —
Пара длинных чешуй волочащихся,
Жабры, русалочьи волосы, дождь
По горящим стекает ветвям...

И фиалок букет в раскуроченной гильзе,
Пришла, чудо в перьях, — её разрубил он лопатой,
Зарыть приказал и проснулся, вышел на воздух...
Блаженны — поют — непорочные в путь, и летят журавли,
И четыре пробоины в черепе у командира
Наспех в глину зарытых мочалок,
Серебряный дождь-мойдодыр
Пузыри превращает в шары Монгольфье...

Превратились ли те, кто сражался в горах, в журавлей?
Превратились ли в белых они журавлей?
Горы, звёздные карты с поправками русского мальчика,

Глупости мальчика сохнут на ветках чинары, и мухи роятся —
Янтарно-зелёные, разные — в зарослях дикорастущего света,
Который есть тьма, но и свет, только режет глаза с непривычки.
И кто эти люди? Ни слова по-русски,
И звенья цепочки — разбился кувшин у колодца —
Плавают над пустырём Тишинского рынка,
Миндаль прозябает, и девушки смотрят в окно,
Ваза, растущая не завершаясь во времени, —
Ваза полуденной рыночной площади, полной фигурок:
Не босоногие ли кармелитки? И мухи роятся,
Янтарно-зелёные мухи, и взорванная голова
Наполняется вновь облаками, архитектурными их превращениями —
Музыка, брат, только музыка, музыка и мерзлота —

Отечество

Вышка, звезда Рождества,
Что Пастернак разглядел,
И экскаватор у рва,
Мост, провалившийся в мел.

Вечеринка на Ретро FM

У меня за спиной шелестел нарисованный рай,
и по краю его, то трубя, то звеня за версту,
это ангел проплыл или новенький чистый трамвай,
словно мальчик косой с металлической трубкой во рту.
А. Ерёмко

Кто он был, этот Эльм, чьи огни загорались на мачтах?
Звезда, говорили, Полынь — так и было: полынь, полынья,
И идут на посадку огни, водки — по две бутылки на рыло,
И кошки, орущие остервенело по трюмам и палубам, *лунные слиони*,
Прожектор и мальчик косой с металлической трубкой во рту,
Всё ныряющий в прорубь, всё ищущий разных диковин.

Полынь, полынья, и идут на посадку огни Геркулесов, Антеев,
Подсвеченный дым, дым отечества — был ли он сладок?
И было ли наше отечество нашим отечеством?
Крутится-вертится шар голубой, плачет девушка из Нагасаки,
И В-29 уходит в лазурь, на взрывной покачнувшись волне.

Дым над палубой, «Smoke on the Water», горящий танцзал на плаву,
И скворцы-конькобежцы, и Семипалатинск: бурёнки о двух головах,
И идут на посадку огни кораблей дураков: их останки
Вытряхивают по пути, наркотой набивают гробы,
И летит с героином в отечество «чёрный тюльпан»,
Провожаем глазами бурёнок о двух головах.

Дым отечества, дым коромыслом над палубой, Марьиной рощей,
Малиновой от пиджаков, всюду свечи из жира убитых младенцев,
Колёсная лира скрипит, проблеснёт флажолет, заменяющий кол, —
Кто ты, брат лебединый, полярная гиперборейская птица,
В *аду музыкантов* себя прописавший во времени оном —
Во времени нашем? В сети информация: Хёртогенбос, Нидерланды,
В соборе Предтечи затеян ремонт и задета гробница художника —

Где он, куда подевался? Лишь камень, меняющий температуру,
Светящийся зеленоватым свеченьем. Что это за камень?
Не камень ли глупости? Или — вещей обличенья невидимых,
Ликов незримых вещей выявления камень?

«Безумный брабантец», «почётный профессор кошмаров» и проч.,
Наркоман (спорынья), адамит, извращенец и прочие домыслы
Заговоривших твоих персонажей — гибридов механики, флоры и фауны.
Кто же ты, Иероним тонкогубый? Дожди зарядили опять,
В них Владимирский тонет централ, и дорогу, поди, развезло до Твери.
Или Тивериады? Но многих сгружали в Твери.

Тот, над палубой, дым коромыслом, он так и вошёл к небесам —
Коромыслом, и айсберг ли, арфы излом костяной? Золочёный изгиб
Парусящей над прорубью арфы, ты распят на ней, прутья струн
Пробивают летучую плоть — струн, блестящих, как лезвия,
Эльма огни — кто он был, этот Эльм? — Золотая легенда,
Святитель Димитрий Ростовский, «Серебряный дождь»
По горящим стекает ветвям.

Плоть в аду не поёт, но летит, пригвождённая к арфе,
Летит, засыпает на дыбе, летит и не движется с места,
Летит и никак не уснёт.

Кто ты, Иероним лучевидный? Тот камень в твоём саркофаге,
Что предвосхищает он из ожидаемого?
То теплее становится, то холоднее и светится зеленоватым свеченьем,
И льётся твоя лебединая песнь: степь да степь, лесотундра,
Цветные тряпицы сбегаят с воздушных могил в ивняке:
Дети тундры, их люльки, воздушные захоронения их,
Мандолина и лютня, кривая дуда,
И всё длится, всё длится ночной медосмотр: позвонки, поплавки
Музыкального взвода, потешного голого войска,
Они мне во сне уже снятся — сестра усмехнётся в курилке,
И мне — улыбнётся другая.

Трава полевая, жемчужная плоть, пелены твои, Лазарь, летучая взвесь
И воздушные захоронения, след соболиный на первом снегу,
Ночью всюду лучины бредут по воде.

И стоишь ты со свёрнутой шеей и не отвернёшься от зрителя,
Брат лебединый, стоишь посреди полыньи, фюзеляж твой пробит,
И течёт керосин — сладко пахнувший белый ночной керосин! —
В волчью яму дождей, в оркестровую яму,
И люминесцентные лампы стоят на руках, ходят на головах,
И безбровые рыжие ветреницы там и сям на крюках,
И лицо твое мела белей, тонкогубый Джон Леннон,
Сосульки волос рыжеватых, и корпус пробит,
Раскурочен похлеще той североморской подлодки,
Дурында какая-то в белой, повязанной как у монашки косынке,
Сидит на вольнке твоей — твоей шляпе срамной — нагибает свистульку
И воду на головы льёт год за годом идущим по кругу
Полями причудливой шляпы твоей — по латунному лунному льду.

И всё ходят по кругу, по кругу удод и косатая чернеть, баклан
И прекрасные донны: их шлейфы усеяны звёздами, их кавалеры —
Кто в перьях, а кто нагишом: всё по кругу, по кругу,
Полярному кругу — как звёзды —

Море дождей

Ивану Жданову

Алтари твои, Босх, дураков корабли,
Над бетонкой Луна — мёртвый спутник Земли:
Пятна рыжей листвы под светящимся льдом
Над пустыней дождём облицованных плит,
И не славен никто, да и жив ли пиит,
Там, за морем дождей, свой поставивший дом,
Обустроивший скит?

То коньками изрезанный лёд за бортом,
То ночные под ним проплывут патрули,
И погасят огни Геркуланум, Содом —
Алтари твои, Босх, дураков корабли.

Пересекая Таганскую площадь

И несут меня двое — дурак и дурнушка.
Н. Штилов

Мачты рвущей корнями обшивку листва,
Череп Йорика, бедный японский фонарик ли в ней
Над пустынным кварталом, над палубой —
Над неподвижным, как солнце любви, кораблём дураков,
И морские ежи (утром всюду, ты знаешь, морские ежи) —
Они тоже не прочь за бискайские волны,
За сливок альпийских кувшин.

И несут меня двое — дурак и дурнушка — несут,
Утирают друг дружке платочками пот и несут,
И склоняется вечнозелёная мачта, шумит,
Миска для подаянья в зубах у пловца проблеснёт —
Может, дать ему вишен? Сказать: это кровь бедняка?

И несут меня двое, и вижу: язык здесь не дом бытия,
А игорный — пожалуйста! — дом «Достоевский», но пусть,
Пусть, какой ни на есть, но пребудет фонарик в ночи,
И в руках у монахини — лютя. Смотри:
Узел с нечистью всякой нисходит с небес,
Мол, не брезгуй, закалывай, ешь, дурачок...

Aurora Australis

Косы, тучка жемчужная, век золотой,
А когда напивались, и плавали берестяные носатые маски
Медвежьего праздника — маски, рожки и сопелки...

В тот в Эрмитаже — первый год Горби,
Войска ещё в Афганистане — серный излился
Дождь на Данаю, и плавали берестяные носатые маски
Над сваями, над изумрудным
Тем городишком на сваях — полярным,
Размером с пустынный квартал; рос на почве болотной и зыбкой
Из опыта «брёда любовного очарования» Серебряный век:
Косы, тучки жемчужные... Косы? Их не было.
Солнце? О да — без сорочки! Но кто ты, плясунья?

Хранительница остяков, самоедов,
Сорни Най, золотая богиня, а не золотая
Баба этнографов, свет её люду обдорскому резал глаза,
Как Даная безумцу, ночами — Aurora Australis,
На смену ей шла Borealis,
Тальник словно вырезан из пенопласта...

Сказала ты: вот дураки! — после первого раза,
А то ещё: смерть? Ну подумаешь, баба с косой, то мы баб не видали!
Ты злой, раскричалась на улице, провинциальный пацан!
И — к метро по сырому, сквозь утро, асфальту зацокала,
Но замерла, три минуты спустя: соловьи! слышишь, слышишь?

•

Корабль дураков и корабль Твой, Жена, облачённая в Солнце,
Флоренского Лилия Чистая, лунный Серебряный век, незнакомки
И вечная женственность, вечность любовного очарования,

Плат до бровей или узкая, в кольцах, рука. Так французенка, значит,
Была твоя бабка? А дед был биологом, что в Октябре
Убежать не успел? Мачты льдами затёртого судна,
И стылого дыма столбы — белые кипарисы, и пестик лилейный
Срамным изогнулся удом — детородным, срамным...

О, когда бы нам спать в домотканых рубахах до пят, с рукавами —
Рубахах, отличных от саванов только ширинками
Для продолжения рода! Хотя для чего бы
Ему продолжаться?

И этот седой горемыка твой, голубоглазый плейбой,
Что возил тебя в лес на машине, в деревню, где волки,
И эти бараки, сияние, тайна, неплотно покрытая мраком,
И нежный твой срам непокрытый, и мрак, покрывающий тайну
Отсутствия тайны: не Лилия Чистая — просто луна
Над загробной стоит мерзлотой
В черепно-мозговой, до костей кипарисов промёрзшей воде,
И блудницы умершие ходят босые, смеются.
А что за цветы в волосах? Асфодели? Тепло ль тебе, девица?
Странница, а не блудница, не Биче, но кто может знать,
Где ты сейчас, не тебе ли меня поручила *Заступница*
Мира холодного?

О, злорождённые, я — записал он, в чём и заключалась
Вся новая жизнь, вся комедия — видел надежду блаженства,
И эта *Aurora Australis* в ночи, *Borealis*...

Давай, ты сказала, умрём, на постели садясь.
Лучевидные сороконожки, глаза твои на мокром месте
В арктической тьме с её передвижными лучами:
То вытянутся, то сожмутся, свеча на столе и сорочка на стуле,
Твои босоножки, дочь ветра со станции Котлас,
И словно идут и идут на ходулях всю ночь над нами
Дымчатые исполины —

•
Даная, стихи я тогда написал о Данае
От имени психа, когда оскорбил, как Рембо, красоту,
Когда ты улетела спецрейсом: скамьи вдоль бортов, чей-то гроб посреди,
А внизу — лесотундра щетиной на скулах, как ты углядела,
И реки, озёра в снегу — ничего, отоспишься на Ивовой, в Свиблово, улице,
И — в Дом актёра, не спи, через час — дозаправка в Ухте,
Тараканы в буфете. И кто тебе, врунья, французские эти духи подарил?
Кто тогда настучал из соседей? Китаец? Ни свет ни заря
Завалилась милиция, и — 48 часов, чтоб покинуть Москву.

Под крылом самолёта зырянские топи, не белая ночь,
Но уже по-весеннему светлая, Горький, а там и Быково, не спи,
Отоспимся, как мой однокурсник сказал, на том свете.

Москва или Котлас — всё финно-угорское что-то, зырянские топи,
А дальше, за Камнем, совсем никого, кроме старообрядцев стеснительных,
Дочери их занавешивают, предаваясь блюду, Богородицу,
Лилию Чистую; лилия судна, затёртого льдами, корабль дураков
Или Церкви корабль? Огоньки на корме, на тарелке котлета по-киевски
Светится, май под звездой Польша: бабушка Неонила
Котел тот помыла, дедушка Елизар пальчики облизал...

Мирный атом, Европа его кроет матом, советский наш атом,
Войска ещё в Афганистане, и обезображена психом Даная,
И плавают берестяные носатые маски. Европа?
О да: гондольеры и арки сплошь в белых гирляндах,
И спуск за ступенью ступень, путь под воду: пустынный квартал,
Колоннада, над ней — провода в клочьях тины,
Костяк обнажила, опав, штукатурка, но держатся своды,
Светильники теплятся — сколько в них ватт? Есть ли выход наружу?
И что сейчас — день или ночь? Корневище сухое и нити на нём —
Нити капель дождя золотого —

Олени

Светлая погода приходит от севера,
и окрест Бога страшное великолепие.

Иов. 37:22

Их тропы в наших снах, твой самолёт,
А шли они куда после забоя,
Куда брели? Куда она бредёт,
Весна твоя сквозь золото слепое?

Там пажити, где ягель словно мёд
И волен каждый пить его с любовью,
Там в небе растворился самолёт,
Олени ищут землю под собою,
Струясь сквозь лёд.

Гора Кармель

Гераклит говорил: человек, как умрёт и погаснет глаз образов,
В радостной нóчи в себе зажигает свет дня. Но легко ли тебе
Умиранье далось, Гераклит? Угасающим зреньем
Вперяющийся в угасающий образ, в ночи видит лилии,
Перья роняющие в полынью, и алтарные видит врата —
Так Арсений Тарковский назвал те врата, приоткрытые створки
Возлюбленной плоти, срамные её лепестки, только многие ли
Нынче слушать пришли бы Тарковского?

Зонтиковидный стеклянный в ночи разливается купол
Над Царским селом или Детским селом, угасает звезда,
Выворачиваясь наизнанку, — пятилучевая звезда под водой,
Позвонки разбегаются в каждом луче и мерцают реснички каналов —
Венеция? Санкт-Петербург? Фонари на тростинках, лучи,
Оси микрокристаллов и амбулакральные ножки, морская звезда
Распласталась на льду, промерзая оральным отверстием снизу,
Глотающим падаль, планктон, усоногих рачков.

Фонари на тростинках, огнива в воде, бивни, белые бивни
Изломанных свай, и колючка блестит, на приколе двухъярусные корабли
Продувного потешного войска, и в перьях огней большеротых,
Вся в перьях огней золотых — не Саратов ли? — улица,
Луковицы куполов под дождём, и ундины, ундины, ундины
Верхом на дельфинах, и тот оловянный солдатик, и та балерина...

Давай, ты сказала, умрём — как-то ночью, и было от снега светло,
На ходулях сияний шло время, дымы и сиянья, но спи,
Спи, художник. Русалки воскликнули «вау!»,
Взмывая на взмыленном гребне, и скрылись, пропела сирена
В засыпанном снегом дворе, в волчьей яме двора,
Одиссей хитроумный уснул на корме,
Золотое прозрачное семя пустив по воде, — спи, художник.

Хуан де ла Крус — до кости на ноге сгнило мясо, а он
Всё о лилиях пел в монастырской тюрьме — объяснил, как подняться
На гору Кармель, сын Давида поставил венцы над столпами,
Подобные лилиям, Кору похитил Аид, когда лилии та собирала —
Они и в Аиде цветут, теневидные лилии Орка, как Паунд писал.

А ещё он писал, сидя в клетке: что ты возлюбил — не отнимется.
Спи, не разгадывай, чей это мир — твой ли, чей-то, ничей ли, —
Сначала был зрим, затем осязаем: Элизиум —
Даже на дне преисподней, писал старый Эз,
Сидя в клетке под солнцем пизанским, что ты возлюбил —
Не отнимется, прочее — шлак, не отнимется, что возлюбил,
Твой законный надел — то, что ты возлюбил,
Родовое поместье, художник, твоё.

И фонарики те вдоль Большого Канала, Риальто в огнях
И другие огни (не имеет значенья какие) роняют перо в полыню —
Полевая трава, но как странен негордый наш Бог: если всё это мусор —
Зачем нам смотреть на него, любоваться? Нехитрый урок уяснить
На другом мы могли бы примере — урок не заботиться, но созерцать
Эти лилии на солее, посмотрите: их перья летят в полыню,
И лишь два лепестка ещё держатся, словно свились на морозе
Морские коньки, разомкнулись, распались,
Застыли в узоре на стёклах, уже затекающих солнцем —

Пустозёрск

Снег и дороги, дороги Смоленщины,
Свечи в снегу возле Белого дома, трава полевая
И свечи в снегу — посмотрите, сегодня они ещё здесь,
В поле вашего зренья, святые отцы,
Непорочные жёны и чистые девы,
Сегодня они ещё здесь, эти лилии у Царских врат.

Снег, трава полевая, цветы вдоль дорог,
У Останкино и возле Белого дома, где между расстрелами
Раненую баррикадницу рьяно насилвала солдатня
В промерзающем за ночь парадном: октябрьская стынь,
Победителей пьяные рыла, московская школьница —
Много про то говорить, как сказал Аввакум,
За санями бредя в Пустозёрск.

Да, до самой до смерти. Добро! И ещё побредём.
Купола в белом золоте, в лунном сиянии,
В тусклой сферической наледи,
Отключены все системы у станции «Мир»,
И умолкли подводники «Курска»,
Но снег серебрится во свете, светящем во тьме,
Мчится троечка, бездна звездами полна —

Пасха

Ты во взломанный склеп привела с собой сад —
Беззаконный, сырой, охраняемый лишь
Светляками, лишь запахи, стрёкот цикад,
Звёзды, воинство их над уступами крыш,
И пылают жаровни у храмовых врат.

Пётр к себе возвратился, ушёл Иоанн,
Ну а ты всё стоишь, всё плывёт наугад
Аромат бесполезный сквозь месяц нисан.

Известь ям, известняк незнакомых оград,
Никому не жена, никому не нужны
Ароматы твои, но плывёт аромат
Погребального мира, иной тишины,
В этом взломанном склепе усилил стократ
Свежесть снящихся мёртвым волос и ветвей.

Известь ям под луной и Садовника взгляд,
И цикады трещат вдоль дороги твоей.

Отец Стефан

На столе блюдо с рыбой, вероятно карп,
Мансарда с окнами на радонежские леса,
Всё дальше на север — и вот уже соловецкое солнце
Горит над Секиркой — не лампа,
Вот уже морестранник воздвиг кельтский крест
Над святилищем Аполлона Гиперборейского
И линия Маннергейма свет отделяет от тьмы —
Свет трогающий всё вокруг тебя
Как будто кровью рыбы золотой, сказал Айги,
Сказал: так прячут может быть за вьюшкою алмазы
Как был ты нежен в ветхих рукавах,
И эта улыбка попа-передвижки,
Хранителя сокровищ Нибелунгов, улыбка скальда,
Теперь аскета (ты всегда в пограничной зоне),
Вкупе с обещанием пропуска к твоим озёрам —
Дар драгоценнейший для сотрапезника —

Инструктаж

Не Зерцалоподобная Мудрость о, высокородный,
Тот дым синеватый, не следуй за ним, —
Шепчет лама инструкцию на ухо трупу, —
Не следуй за ним, ибо это — стихия земли,
Не Зерцалоподобная Мудрость!
Лучи Дхармакайи, лучи Сострадающих Глаз —
Ухватись за лучи Дхармакайи
И Бычьеголового Духа не бойся —
За крючья лучей ухватись.

На расстрелы невинных в ночи —
Учит автор «Портрета без сходства» и «Роз» —
Не смотри, по карнизу скользящий,
Иди своим царским путём,
Погружаясь в сияние в льдистом ничто,
Вспоминая, как в мутном пролёте вокзала, в аду,
Мимолётная люстра зажглась, как венец.

Станция Беллинсгаузен

Донесенья подводников Деница,
Оледеневшие рубки его субмарин,
Гравий и ветер, остовы скал,
Перетёртые в гравий, лишайник,
Слюда завидных земель —
Русским оставил Кук
Честь их открытья —

И было промозглое взморье,
Шельф и поморник на камне,
Горный хрусталь в рюкзаках,
А под ногами — череп пингвина:
Белый, как вырезанный из бумаги
Летательный аппарат, —

Солнце явилось,
Окрасило золотом ртуть
Ила среди развалин
Потустороннего Кёнигсберга —

И было упорство ветра,
Был укреплён валунами
Крест на холме, над руинами
Горного кряжа в проливе Дрейка
Близ полых пространств
Земли Королевы Мод —

И срублена церковь была на Алтае,
Разобрана, привезена в Антарктиду
И собрана здесь, в Антарктиде,

Где был укреплѣн валунами
Крест над обрывом в лето 7510-е
От сотворения мира —

Пересекая экватор

По прихоти им вымышленных крил.
Баратынский

То ила золотая льётся ртуть,
То перья талых птиц — кто их растлил? —
То вновь Дорога Мёртвых — Птичий Путь —
Вода по грудь и айсбергов-ветрил
Окоченевший свет. То козодой
У Козерога чистит шерсть, то снова ил
И синий шельф. То ветер штормовой,
То брачный тот чертог, его стропил
Обломки над крикливою водой
Близ Полюса. И Полюс подтвердил:
Да, первую любовью сотворён,
Да, только прихоть вымышленных крил,
А связь времён — вот солнце вне времён,
Вот в синеве горит его берилл.

II

Блогосфера

То цвет епархиальных канцелярий
В воинственные строится полки
Фелоней золотых, как рыба в кляре,
То вырванные с корнем позвонки
Всплывут, и зря их вырвали, не зря ли,
Но многие спаслись ли в той среде,
Где веруют, что строг, как колумбарий,
Твой строгий рай? И кто, когда и где
Прошёл успешней лузеров и парий
Твой мастер-класс хождения по воде?

Телезритель

Ирине Перуновой

Лубберт Дасс — персонаж «Удаления камней глупости», старый
Глупый цветок, битый камень, Das Man, телезритель,
Одержимый бумагомаранием в прошлом, сегодня
Множащий файлы — факты неискоренимой
Глупости, её минералы-цветы, произрастающие в голове,
Пущенной по воде, — подумывает, не пора ли
Вырвать их с корнем, фитюльки сии, фитильки,
Цедящие свет непонятный из проруби мироздания, не пора ли
Решить окончательно этот вопрос? Попытки
Предпринимались и раньше,
Но, как подснежники в голове капитана штрафбата
Из песни таганского Гамлета, удалённым на смену
Росли новые глупости, и как совместить
Камень с цветком?

Лубберт Дасс, Das Man, телезритель, хотя
Он зарекался смотреть телевизор, и если бы не жена —
С чипсами на диване, умственным онанизмом
Называет поэзию, — не взглянул бы,
Уверяет себя Лубберт Дасс, полон высокомерия,
В эту помойную яму, припоминая
Ерёму: «И, словно в помойную яму, в цветной телевизор глядит», —
Писал поэт, воспевая старую деву, знакомец
Лубберта Дасса: снежок о стекло, двор в снегу,
Кроссовки на босу ногу: пришёл подлечиться
К художнику Мите — ещё одному
Приятелю Лубберта Дасса, в его мастерскую на Патриках
Поэт Александр Ерёменко. Что он увидел —
Речь о Лубберте Дассе, а не о поэте — что он увидел, ниспав
С высоты умозрений в помойную яму, на чём его взор
Остановился в ней, что он услышал?

Глаз, словно камушек круглый, блестит
На спёкшемся мясе ладони, поднятой вверх
Сквозь пламень огня, пламень огненный:
В Хиросиме — «Малыш», в Нагасаки — «Толстяк»;
Глаз на ладони, словно
Камень-голыш, глупый камень, цветок, образующийся в мозгу,
Как образуются камни в почках и мочевом пузыре,
По мнению живших в Средние, сиречь не особо
Примечательные века — времена
Лубберта Дасса.

Что такое цветок, думает Лубберт Дасс, что такое цветок, как не глаз,
Смотрящий из камня, из шкуры его, что, как не око
Глупого камня? Размышляя о глазе и камне,
Лубберт Дасс задаётся вопросами в общем-то глупыми, например:
Глаз на ладони— что он увидел, проник ли
В первоначала? Обычный ли глаз? Но что такое
«Обычный»? Из Википедии Лубберт Дасс узнаёт о влаге
В передних и задних камерах, висящих на вертикальных осях
Стекловидных яблок, также он зрит
Спутник — из первых — искусственный спутник Земли.
Знает ли что-то Земля о своих
Спутниках, а тем более
Об искусственных спутниках? — думает Лубберт Дасс, представляя
Плывущий сомнамбулой по орбите глаз, светящийся отражённым,
Непохожим на солнечный светом, подобно Луне —
Спутнице, а не спутнику, пора бы внести уточнение,
Нашей старушки Земли, голубой планеты, а следом ему, Лубберту Дассу,
Мысленному его взору, являются трюмы затопленных кораблей,
Трапезная монастырская, коридор
Братского корпуса в одной из обителей,
Ушедших в семидесятых на дно Рыбинского водохранилища,
И прочая муть голубая, ему видится далее тундра,
Спящая в солнечном свете, словно в стеклянной воде,
Золотой и прозрачной воде Небесного Иерусалима —
Города Агнца, Его Невесты,
Сходящей с неба.

Мысль Лубберта Дасса задерживается на спутнике, но уже на другом —
Не отправленном в посмертное вечное плавание, а наблюдающем
За обитаемой нами планетой, — спутнике,
От недреманного ока которого не укроется и иголка в стогу, тем более —
Гигантские ямы, карьерные выработки в акватории трёх морей —
Беллинсгаузена, Амундсена и Росса — морей Антарктиды: спуски
В глубоководную преисподнюю, в полуостров — была
Такая теория, кто-то придерживается её и ныне. Об этих ямах
Лубберт Дасс узнал из сети, занят очередным
Чудесным ночным уловом, и там же, в сети,
Видел их, этих спусков, снимки, явно подделанные,
Чтобы смутить обывателя — легковерного
Лубберта Дасса.

Мысленный взор его зрит вслед за спутниками другие
Летательные аппараты: огненные колесницы Вимана, как чайки-крачки,
Перемещаются из Антарктиды в Арктиду, туда и обратно,
Скользят косяками по лабиринтам
Полой земли, освещённым крошечным солнцем, и Лубберт Дасс
Видит гроты и своды над гротами — зеленовато-лазурные своды
Из полупрозрачного льда, и солнце, белый вьюнок,
Глаз, смотрящий сквозь воду, Лубберту Дассу напоминает,
Как догадался читатель, о голубом цветке Новалиса и аналогичных
Мифах немецких и прочих романтиков.

•

Подземное солнце смотрит сквозь воду — так это видится Лубберту Дассу,
Хотя — развивает он мысль — было бы правильное говорить
О воздухе — прозрачном, жёлто-зелёном, как в Заполярье, отсюда, однако,
Недалеко и до мысли о белых, на Полюсе, яблонях солнечного Аполлона,
До лженаучных (или по меньшей мере сомнительных)
Изысканиях Германа Вирта, связавшего английское apple,
Немецкое Apfel с гиперборейским
Солнечным богом. Лубберт Дасс
Пытается вспомнить значение древнеиндийского jambu,

Аукнувшегося русским яблоком, но забывает о jambu
И вспоминает, как Суламита, в изнеможении от ласк
Своего молодого оленя, просила
Освежить себя яблоками и как у Лии просила Рахиль
Мандрагоровых яблок, после чего
Его мысль возвращается снова к Полюсу, и он (Лубберт Дасс)
Видит молодильные яблоки в прозрачной берилловой роще,
Видит сапфир неподвижных волн под звездой Арктур,
Играющей бирюзовым золотом, и, позабыв о намерении
Расстаться с камнями глупости, он, наш герой (как сказали бы в старину),
Думает, а точнее — лицезрит, ни о чём не думая,
Другой голубой цветок — «лазоревый цвет»
Из духовных стихов калик перехожих и сам себя ощущает —
Он, Лубберт Дасс, — одним из них, припомнив — как бы припомнив —
Цветок полевой, произрастающий в Палестине
И известный как лилия — в Палестине,
Но когда-то, возможно, и в наших (Лубберт Дасс усваивает им
Человеческие немощи, а именно — слепоту, слепоту бродячих певцов)
Северных палестинах.

Пели Лазаря — что это значит: «заведомо ложная информация»,
Отпевание того, кому Лазарь поётся, или обещание
Воскресения? — продолжает задаваться вопросами
Лубберт Дасс, вынося мусор и видя, как ему кажется, этого самого Лазаря,
Излизанного дворнягами: Лазарь, подобно мытарю,
Ворошащему палкой отобранное у соотечественников,
Взысканное за недоимки тряпьё в корзине,
Проверяет содержимое мусорного бака подобранной тут же рейкой,
Ненужной после ремонта. Лубберту Дассу думается,
Что дворовый житель ищет себе на зиму лапсердак,
Будучи Лазарем, хотя — ловит себя на мысли наблюдатель —
Сомнительно, что он еврей, впрочем,
По внешности бомжа, типичной для бомжа,
Национальная принадлежность столь же неопределима,
Как и утраченная социальная, — почему бы ему не быть
Спившимся евреем? Или таких не бывает?

А среди русских евреев? Рейка
Видится Лубберту Дассу (он уже забросил в контейнер
Свои пакеты) шестом эхолота, а действия Лазаря — поиском дна,
Нет, скорей — основанья, земли под ногами,
Измерением глубины приключившегося с ним (Лазарем) «в этой жизни»,
Что — здесь Лубберт Дасс замирает, как пёс, нюхая воздух, —
Может стать отправной точкой
Стихотворения.

•

Влезть в шкуру этого бедолаги, шкуру не только бомжей,
Но и, например, городских сумасшедших — всех тех,
Кого в стране не только святой инквизиции, но и святых чудес,
Если верить Алексею Степановичу Хомякову, вылавливали, грузили
На «корабли дураков» и отправляли в бессрочное плавание:
В путь, мореходы, полынное семя, попутного ветра тебе, лепрозорий,
Лупанарий для неприкасаемых, корабль церкви
Изгоев!

Глаз на ладони, река в Хиросиме, куда сбегается, чтоб умереть
В воде, а не в пекле, палёное мясо, камень глупости, корабль дураков —
Корабль абортированных социумом, выброшенных вон
На отправленную в пласть помойку,
«Лазоревый цвет» калик переходящих, Лазарь, что плыл бы, живи он
В средневековой Европе, по матушке Сене-реке,
А не сидел бы сиднем, собирая вокруг себя бродячих собак,
У крыльца некоего богача, спутники, яблоки глаз, глазные яблоки,
Яблоки мандрагоры, — Лубберт Дасс боится,
Что не успеет застенографировать этот поток, эти воды
Вскрывшейся реки, слабо мерцающие предносящиеся связи,
И пишет на первом попавшемся клочке:
Вы, с кровавых пришедшие (а для чего, интересно?) полей,
Вы, с тележками и костылями обрубки войны,
Долгожданного мира отбросы, — прошу всех подняться на борт,
Мы отправляемся — вы отправляетесь! — в плаванье:

Русла сумеречного сознания, полного чудищ — природа их терпит,
А мы, извините, нет.

Лубберту Дассу видятся автозаки, облавы по стогнам града
И по блошиным рынкам, улицам, переулкам и подворотням, а дальше —
Поля и луга заливные, другие грады и веси, обводные каналы
И снова поля под звездой колхозных, а ныне бесхозных полей,
И лучины горят-догорают в ночи мировой под звездой
Мирового уродства, тюремной — забудь Гиппократ, придурок! —
Психиатрии, и мачта орешинной гнётся, скрипит, подражая тёмному дубу,
О любви сладкий голос поёт и светлее лазури струя —
Сопли лазури, зигзагом летящие за корму
Пьяного корабля.

В сущности, — думает Лубберт Дасс, — она не так уж и ошибается:
Есть в сочинительстве что-то от блаженной горячки подросткового,
Армейского и тюремного онанизма — тайной свободы,
Что-то от мучительного самоудовлетворения разведённых,
Расставшихся навсегда и не навсегда, всех одиноких,
От напоминающего путь на ощупь, путь сомнамбулы по карнизу,
Путь по воде, рукоблудия вдовцов и вдовиц, калек, душевнобольных,
Хотя возможен (а скорей всего, и более предпочтителен) другой метод
Проникновения в суть вещей во исполнение райской заповеди
Наречь имена всякой твари, отнять аромат у живого цветка,
Чтобы тот не погиб, а цвёл и цвёл бы на луговине той,
Где время не бежит, — цветок, сам называющий своё имя,
Глупый, прекрасный цветок, камушек беззащитности
И недоумённого вопроса, обращённого к Небу, протянутого
На обожжённой до кости ладони.

•

Итак, извлечение камней глупости, выявление не проявленного,
И, возможно, недостойного проявления, но посмотрите
На эту кувшинку, белеющую на круглой столешнице,
Подобно глазу под зеленоватым северным небом, и на хирурга —

Жестяную Воронку, фокусника, прохвоста, всезнающего дурака,
Посмотрите на кровь, текущую по толоконному лбу
Лубберта Дасса, знающего, что он — дурак, Das Man, лузер и лох,
Лубберт Дасс, телезритель, пусть поневоле,
Но телезритель — не визионер, как назвавшийся Лесом автор
«Удаления камней глупости». Судя по информации о выставке
Средневековых орудий пыток в Санкт-Петербурге, способы удаления
Были разнообразны. Лубберт Дасс выписывает
Названия подручных средств: «дочь дворника» («аист»),
«Колыбель для Иуды» — железный конус, маленький кол,
Сидя на коем и не умирая, но и не засыпая,
Есть время обдумать ответы на поставленные вопросы,
«Скрипка для сплетниц», «ведьмино колесо».

Лубберт Дасс представляет себя просыпающимся на корабле:
Скрип уключин в тумане, должно быть, ещё одного дурака привезли,
А «дочь дворника» («аист») уже улетела, поди, вместе с дымом
К своим аистатам и внукам ещё кое-как, но скрипящего дворника —
Ветерана Столетней войны. Слишком сентиментально
Или сойдёт? — думает Лубберт Дасс,
Хорошо представляя себе дворницкую и/или котельную, поколение
Дворников и сторожей и прочие потерянные поколения.

А интересно: «скрипка для сплетниц» — её кто-нибудь настраивает?
Глупый вопрос, Лубберт Дасс, глупый, но, может быть,
Не неуместный в стихах. Он видит
Юных скрипачек, подрабатывающих в ночных переходах,
Флейтисток, Нину Заречную, седую и косматую, просящую милостыни
Там же, в подzemке, в московском полупустом подzemелье,
И продолжает играть центонами — лермонтовской скрипящей мачтой
И прочим, что, как ему кажется, вполне уместно
В его, Лубберта Дасса, «тексте»: и орешина гнётся, на ветке кувшин
Красным, глупым застыл фонарём, недоумок за бóрт (или за́ борт?)
Окурок свой выстрелил: ну и кретин я! вот сука!
Ну пьяная, ну не хозяйка, а всё же! Но разве ты сторож
Сестре своей? Курва во тьму с котелком прошмыгнула,

За ней её хахаль, заливший шары, чтобы белого света не видеть,
Не видеть пути от сумы до тюрьмы и обратно,
Ни курв с котелками и без котелков, ни дурочек из переулочка.

Сколько — 17 ей, 30? Тому кобелю — 50 или за 50?
За бóрт (или за бóрт?) бросить, вспомнив певунью, окурок,
А страсти разряды, твоим человеческим сердцем накопленной, —
Пусть их плывут, что из-за пустяков-то терзаться? Вот ветер подул,
И плывёт, поглядите, кораблик — корабль дураков, мертвецов:
Без руля и ветрил, а плывёт под зелёной звездой полоумной —
О, Venus Marina! — плывёт себе старой калошей, старей
Кумской сивиллы и той изнасилованной в Каракумах старухи,
Себе на беду бывшей русской старухой, за что и...
Аллах им сказала акбар — ну и что, что акбар? Завалили и...

Кто там горланит ещё одну песню о главном? Что за человек за борто́м
(Или всё же за бóртом)? Забор там. Жена его, Лотова, столп соляной,
А Лолита, — заморские что-то пошли имена, — когда он обернулся,
Осталась в потёмках, в грязи, где была, и вакханки в венках
Оторвали Орфею башку и пустили по водам среди тростника, по водам.

Лубберт Дасс, как всегда, в замешательстве
Относительно художественной ценности им сочинённого
(Им учинённого), и пастернаковская директива
Не отличать поражения от победы кажется ему не слишком убедительной
В качестве руководства к действию, в том же, что это — действие,
Деяние, поступок, что стихи должны быть поступком,
Он не сомневается: слова поэта суть его дела, сказал Пушкин.

Итак, что мы имеем? Голову Орфея, воду, тростник, корабль дураков,
(Он же — корабль мертвецов), подростка и его подростковую драму
(Измена девушки), его, сверчка запечного, суходрочку
(В отместку девушке, городу и миру), то есть уединённое
И бессмысленное, бесплодное, как стихи при Рынке, занятие,
И как же далеко мы ушли от молодильных яблок, от Рахили и Суламиты,
Звезды Арктур! Вернуться? Но можно ль вернуться туда, на Полюс,

Не по щучьему велению, а лишь своему хотению? Куда
Вывезет нас кривая? И вывезет ли? Мачта гнётся, скрипит,
Зажигают фонарь — что за музыка там? Тростниковая флейта? Жалейка?
А где она плачет, жалейка? Да где-нибудь плачет, небось, сожалеет
И думает: сука, какая ж я сука! Орешник в ручьях перламутровой зелени,
Лунный кувшин, удилице кривое орешника с глупым кувшином,
И дуб зеленеет, склоняясь, шумит, и рябина всё к дубу тому
Перебраться не может, но стоило ли огород городить
Ради постмодернистских, сто лет как нехитрых уловок?
Уж за полночь, даже не за полночь — утро,
И уд изнурённый поник и обмяк, расстреляв все петарды,
Уходит в себя, золотое прозрачное семя пустив по воде —
Золотое прозрачное семя по лунным садам,
По висячим садам в неподвижно текущей воде.

Да-с, — думает Лубберт Дасс.

На отпевании NN

Флейте подобно...
Но глупость ведь, глупость —
Детский крестовый поход:
Все полегли, никто не вернулся,
Милый снегирь.

А иных сарацинам
Продали в рабство купцы
Венецианские, Гроба Господня
Никто не увидел — что же ты,
Флейте подобно?

В мастерской

Мы сидели на пнях и молчали. О чём
Думал он, что хотел мне сказать?
Неужели что лад музыкальный —
Изысканное приглашение в ад,
Лишь прелюдия к адскому дивертисменту?

Орудия пыток он видел и в лире колёсной, и в арфе —
Орудия пыток на вербах в стране Вавилонской,
На чуждой земле — как воспеть на ней
Песню хвалы? Разве музыка инструментальная ваша —
Не музыка плоти греховной и замороженной блудом,
Словно дудочкой — крыса? Палёное мясо?
Да это же благоуханье свободы, спасение,
Выход из ада, гарантия, что не окажешься в нём
После Судного дня! И к тому же
У инквизиторов тюрьмы — они по сравненью
С обычными тюрьмами... Был душегубом,
А сделался еретиком — почему? Захотелось комфорта
И уважительного обращения. А пытки —
Когда же и где же их не было, пыток?
И где и когда их не будет?
Но мина-игрушка — до этого б мы не додумались.
Музыка... Мало ли нам утешений
От Господа? Дети, жена и в заказах
Нет недостатка... Аскеза — вот музыка, что не обманет.
Постом и молитвой, и деланьем заповедей, послушаньем...

В глаза я ему посмотрел, и смутился он, мне показалось,
Истаивая вместе с храмом своей мастерской —
Акваторией Леса. И все перелески, подлески,

Все проблески, все отголоски и всплески, все сноски
Схолостов на жёлтых полях затянуло туманом
Над водохранилищем — там, за Можайском...

Women on Waves

Они предусматривают все оттенки желанья:
«Розы Андорра» и «Пламя Любви» из сатина
С жаккардовой вышивкой, сзади — шнуровка,
А на Рождество капюшоны и платьица — всё оторочено белым,
Ко дню Валентина — всё цвета морозной зари.

Так о лилиях сведенья ищешь — леллуйях еврейского гетто,
Цветах Артемиды-охотницы — и натыкаешься
На интернет-магазин «Шоколадная лилия»: первый в РФ
Интернет-магазин эротического белья:
Боа к обнажённым плечам и подвязки к воздушным чулкам,
И перчатки, и пояс в комплекте, и крылья и лук Купидона,
И всё предусмотрено, все предпочтенья партнёров,
И что ни возьми — то волнующий аксессуар,
Его сила воздействия неотразима: тончайшее кружево,
Самые нежные ткани — для скромниц,
А для бесшабашных, безбашенных — секс-униформа.

И всё предусмотрено: чайка висит над плывучим, как льдина,
Лесным абортарием, полным тюльпанов, — «Аврора»
Из Нидерландов швартуется в Дублине: ляг и плыви, моя радость,
Ляг и смотри в потолок, слушай плеск набегающих волн,
Вспоминай одиноко белеющий парус.

Тюльпаны в моей голове, камни глупости
И мерзлотой перекошенный дом: вровень с полом — окно,
И вставали не там, где ложились: покатым был пол,
Дрейфовало, как льдина, ложе любви, утром лился сквозь наледь
Безудержный свет, в замерзающей на ночь воде отражаясь,
И лилии те ни лилейной трещалкой не тронуты, ни луковичным клещом —
Ни клещом луковичным, ни мухой-жужжалкой, ни тлём.

Или арфа блеснёт сквозь листву ивняка, или плац за окном
Из окна медицинского корпуса сборного пункта: глядишь, как впервые,
На звёзды, на редкий, над плацем витающий снег,
И летит лепесток с запада на восток, возвращается в круг, сделав круг,
Как коснётся земли — так на полюсе девочка Женя стоит без белья,
Без сорочки от Leg Avenue, что стирают вручную, отдельно, старательно,
В тёплой воде (если нет её — в талой воде)
С появлением первой звезды над плывучими льдинами,
Женщинами на волнах —

Примечание: «Women on Waves» («Женщины на волнах») — голландская некоммерческая организация, созданная в целях оказания услуг в области репродуктивного здоровья и в частности — прерывания беременности женщинами тех стран, где аборт запрещены (Польша, Португалия, Ирландия и др.). Нидерланды предоставляют организации суда под государственным флагом, оборудованные контейнер-клиниками. Аборты производятся в нейтральных водах, не попадая, таким образом, под статью уголовного кодекса (*из интернета*).

Ямал

Земля еси и в землю отыдеши.

Бытие

И называлась та земля Ямал,
Но говорить я власти не имел
И имени её не называл.

Оленьих улиц плыл дощатый мел,
Котельных дым зелёно-голубой
Над нашим изголовьем коченел.

Идя ко дну, чем жили мы с тобой?
Да, говорить я власти не имел,
Но Зодиак до дна промёрзших вод,
Звериный круг, загробные поля...

Лучи водили белый хоровод,
И не имела голоса земля.

Инициация

Русское Радио утром в пустой бильярдной
И Леса, Священноименного Леса малинник в воде,
Наплывающий птичник: щеглы прилетают
Пловцов подкормить виноградом, дрозды донимают купальщиц,
Что с Крайнего Севера явно, скользят пузыри —
Пузыри, пузыри и шары Монгольфье,
И другие летательные аппараты-купавы в полярном раю,
И цветут сто цветов, сто воздушных шаров
Поднимаются к солнцу над золотом быстрым,
Над быстрым живым серебром.

«Я и джаз, остальное не важно». К глазам поднести,
Посмотреть на просвет извлечённую глупость
И плыть по волнам вечеринок на Ретро FM,
Плыть по длинным волнам вечеринок — прообразов
Вечери Тайной, и что мне до неба, сказал Златоуст,
Что мне до неба, когда во мне Тот,
Кто больше неба? Какое мне дело до радио «Радонеж»
И до канала «Союз»?

От времён сновидений и до столкновенья
С какой-нибудь глупой звездой — те же самые вести,
Всё те же хорошие новости, если же плыть по течению, как...
Скажем, льдина — гора ледяная, скала бирюзового льда,
И тропинка протоптана в ней, тропка в царство умерших,
Но кто они, кто и откуда те трое — узнать моряки не успели
Ввиду разыгравшейся бури. И прочие байки,
Плывущие — льдина за льдиной — в зеленой, под солнцем, воде,
И то арки обломок, то арфы белеет навстречу,
Цветут сто цветов, и чем к Полюсу ближе — тем ярче цветы.

А другой Иоанн, Иоанн из Дамаска,
Золотарём потрудился, чем и купил себе право
Писать: Богородица старцу явилась,
Ты что, мол, сказала, старик, ты кого в выгребные отправил
Ямы? Но так ли уж был он не прав? Та работа
Ассенизатором для богослова и песнописца, тот подвиг,
Не был ли он чем-то вроде
Инициации? И операции той же
По извлечению тюльпанов, кувшинок-нимфей?

Их подростки рисуют в отхожих местах, одноклассникам пишут
Сомнительные предложенья под глупостями нарисованными,
И так было от века, так будет вовек, но вскрывают посредством трепана
С пилообразными зубьями или другого сверла
Кость, лоскутки мягкой ткани,
Тюльпан извлекают, кувшинку, морскую звезду,
И живёт человечек с просверленным черепом дальше —
Как люди живёт, не как ты,
Не плывёт орбитальным, ненужным Земле,
Упразднённым ей спутником
И не висит на воздушях, на ивовых ветках, как ты —
Воздушное захороненье себя самого.

Так ли был он не прав? Наша жизнь — или инициация
С выходом из лабиринта в той точке,
Где смерть воскресением вспыхнет, как золотом ртуть,
Или глупости детских наскальных рисунков над ямами, но
Что вы видели, очи мои, слаще той камасутры?

Искать самоцветы, а после их в мусоросборник нести,
Ибо всё — отсебятина. Да, или обогащаешься глупостью,
Или болезненно, но расстаёшься со всей этой чужью собачьей.

И рёбра собачьи в оттаявшей яме явились: сибирская лайка,
Что слушала детские вирши, — из чума, из тундры собака,
Её на цепи не держали, а зря: алкаши увели на верёвке, забили на шапку,

И этих рисунков цветы худосочные на древесине, срамные и глупые,
Рёбра собачьи, хотя неизвестно, её ли ободранный труп ты увидел,
Но плыли цветы: сто цветов, сто воздушных шаров
Поднималось над золотом быстрым, над быстрым живым серебром.

Называлась река Васьюганкой, а через неё — провалившийся мост,
Рельсы — две волосинки, и школьники ходят
По ним за морошкой. Звали её Мерзлякова
Алла. И водку закусывали строганиной после 730
Дней в сапогах одноклассники у Мерзляковой,
И тот, кто читал ей стихи, отрубился на кухне, а в комнате сразу с двумя —
Ладно, с кем-то одним, но с двумя и с обоими сразу? —
О, зимние, детские, птичьи сады наслаждений,
Отель Калифорния и миллион алых роз!

Был один из них ненцем, сын интеллигента из ненцев,
Другой (Шамсутдинов) чей сын — ни ему не известно, ни матери,
И ни два брата его, ни сестра не имеют понятия, кто их отцы,
Но зачем-то по небу полуночи Ангел летел, а не только беззвучно
Спутник скользил над бараками, тихую песню
Пел по-татарски — забыла, совсем ли забыла она эти звуки?

Окно в тусклых зарослях полдня, и озеро вскрылось, и взору явился
Куст краснотала в убитых чирках: всё в брусничном соку
Было плотное, водоупорное уток перо,
Защемлённые ветками шеи, и то ли дробина тогда водяную
Ранила мышь, то ли кто, наступив, раздавил мозжечок,
Но волчком она так и ходила по панцирю утренней —
В солнце сыром — наледи, так и кружилась
В водовороте раздавленного мозжечка,
И апельсин, что мы съели тогда с Мерзляковой, я чистил
И корки пускал по воде —

Ник. Т-о

Иаирову дочь исцелил еси
Прикосновением руки.
Великий канон Андрея Критского

Искать следов Её сандалий...
Ник. Т-о

А «талифа куми» — нет, не «девица, встань!»,
А «девочка, проснись»: руки коснулся,
Сказал чуть слышно: «Девочка, проснись».

И след сандалий в воздухе морозном —
Не в Царском, в Омске... Талифа куми?

Кривой рожок подушки кислородной,
Инверсионный след, мороз и солнце,
И вот уже не нужен кислород
Измученному снами кифареду,
И трое суток дверь к нему открыта.

Стихи, он повторял, больные дети,
И не молился никогда. Девица?
Нет, девочка. Не умерла, но спит.

На север от скифов

Водянистый светильник морошки, сухие извилины мха,
И не светится ли сам собой этот ворс?
Костяника, брусника, стоит подо льдом пучеглазая рыба,
Стоит, шевеля бледно-розовыми плавниками, тальник ледяной,
Деревянная, в мачтах, в снегу, в предрассветных дымах,
Проступает среда обитания, и провода никнут бинт за бинтом
В оперении полдня, и лани, олени: лани пьют воду, олени губами
Трогают ягель, и красноголовый нырок ил приносит со дна
Или грязи комок, чтобы вылепил мир, как в начале,
Местный художник — из грязи со дна или ила, и ты говоришь:
Дело рук наших, Боже, исправи, от всякого зла нас избави —

В магнитных полях замерзающий солнечный ветер сияньем висит,
Словно сети на кольях, и свистнешь — оно заколышется,
Искры по мёрзлому стеблю текут,
Из оленьих ноздрей поднимается пар, превращаясь в тальник,
А тальник в свою очередь в белый коралл — он горит
Кристаллической нотой безмолвия, видишь воочию:
Искры по стеблю текут, видишь Гиперборею, поля приношений,
Козлиную кровь, в киммерийский текущую ров, перья, перья повсюду —
Писал Геродот: там, в полуночных землях на север от скифов,
Бредут исполинские перья, нельзя ничего разглядеть,
Ибо перья там зренью мешают: бредут и бредут,
И проникнуть туда невозможно —

Туманы имел он в виду или непроходимые, слоём за слой
Застилающие кругозор облака? Остроносые нарты
Тех белых пустынь корабли, недреманные очи бегут
По ободьям полозьев, волокна сияний,
И ты, живописец по имени Лес, посреди полыньи,
Как Гораций, когда, доходяга, оделся он белым пером,

Пропуская сквозь прутья морозный озон, и со струн заскользило перо
С трубным звуком прощальным, ты, брат лебединый, стоишь
Среди ночи полярной, и нам ничего о тебе не известно,
Одно только знаем: ты член Лебединого братства,
Где жареный лебедь к столу подавался, но что это было за общество,
Что за собранье в честь Девы Марии? Светильники льются
Белей черепов в иудейской пустыне,
И пьёт замороженный свет вечеринка на длинных волнах,
И слоняются перья из времени оно — времён сновидений,
Бредут небожители в шкурах медвежьих,
И плавают берестяные носатые маски
Медвежьего праздника, Зубов с Орловым слезают
С нарт, оба в малицах белых, два белых медведя,
И трутся спиной о земную алмазную ось —

Мегаполис

Всё во имя массового человека,
Всё на благо массового человека —
О, не ведите, не ведите меня к нему,
Я не хочу видеть этого человека!

Делирий

Анатолию Найману, собеседнику трубадуров

Времена одичания, праздник свечей или мусора горы блестят,
Словно груды улова чудесного, ночью под зимним дождём во дворе,
Цвета тундры обои, Лаура Петрарки (Лаура де Сад)
И корзины изгрызенные: грызли прутья корзин отсечённые головы,
Прыгали из-под ножа гильотины и прутья кусали,
И жалко Жюстину, но жалко — у пчёлки, хотя ведь и пчёлку,
И жалко у пчёлки — его тоже жалко, как в дворницкой,
В угол поставив колун, написал бы Пуханов.

Колун и колтун, покаянные тускло мерцают рубахи,
«Дочь дворника» («аист»), коленодробилка, ручная пила,
«Колыбель для Иуды» и обручи для черепов тугодумов,
Венцы для «адептов любви» — альбигойцев, катаров,
И всюду цветы Монсегюра, цветы Монсальвата и тундра,
И глупо рассвета в ней ждать: чукча в чуме рассвета не ждёт —
Чукча верует Маленькой Нерпе.

Давить, говорите, кощунниц? И на кол сажать?
Чукча верует Маленькой Нерпе: вот Город-Невеста, сходящая с неба,
И жемчуг ворот её, яспис, сапфир, халкидон в основании стен,
Вот висячие, в иллюминации зимней, сады

Или талый, за окнами дворницкой, двор, Галилейское море
И море Омира-слепца, винноцветное, цвета кагора, не Чёрное —
Синее море, и молы, и зелень лазури, и в зарослях мирта
Сатиры преследуют нимф, сквозь курящийся ладан кривятся за ветками
Жертвенника золотые рога. На кол? Колесовать? Или сжечь?

Снег Петровского парка и праздник свечей:
Память дряхлого праведника Симеона и Анны-пророчицы,
Свет проникает сквозь толщу

Вод подо льдом, всё повязано светом:
Воды над твердью и воды под твердью — всё было повязано светом,
И лилии, «Евины слёзы», как их называют евреи,
Замёрзшие лилии те, опадавшие, как пелены
С четверодневного Лазаря, — Лазарь, как вышел-то он,
По рукам и ногам пеленами повитый? Но вышел, его развязали,
И смотрит, покойник, на сброшенные пелены, словно Кифа — на те,
В золотистой опалине.

•

Глупость? Эразм (он захаживал к Лесу) пел глупости песню хвалы,
Ибо Господу песню хвалы как воспеть нам на чуждой земле?
Вот Либориус фон Падерборн, извлекающий из мочевых пузырей
Камни глупости, а философские камни — одних в Заполярье,
Других в зазеркалье отправили на корабле шибко умных,
И что покупать в «Перекрёстке» — вино Руссильонского замка
Иль Папского замка вино?

Взяв машину, он (чукча) к наркологу едет, глюкоза
Образчики крови промыла, и следом за первой
Вторая, во Владике, видится Чёрная речка,
Ракушечник белой — белей облаков пополудни — резьбы,
Соремонда, Раймон преподносит ей сердце певца, соль и перец по вкусу,
И ласточки кружат над городом мёртвых.

— Ну, как самочувствие?
— Мышки-норушки обычно в моей голове отлучённые книги читают,
Шуршат в темноте, серебрятся — не мысли, а мыши,
Как правило, мышки-норушки, а нынче, смотрю,
Что-то мышки-полёвки с цветка на цветок,
Слабо фосфоресцируя, перелетают — к дождю, вероятно.

А, может быть, школьницы снова запрыгают с крыш —
Разбивать им о камень прикольно цветочные головы: всё для прикола
Под радугой Судного дня, под кислотным дождём.

Или фары плывут сквозь горящий торфяник,
А вырвется из огнедышащей дебри за матерью следом лосёнок
К воде, к переполненному, как больницы и морги в белёсом дыму,
Пляжу волжскому — палками, глядь, и забили лосёнка —
Так, для прикола.

Плодам разложения скитаться полями несчастья во тьме
И не ведать покоя, писал Эмпедокл, говорил об огне он
И сам стал огнём, познавая подобным подобное.

Кто соблазнил малых сих? Колесо обозрения остановилось в огне,
Кто-то на ухо: друг! для чего ты пришёл? Зябко, холоден месяц нисан,
И повсюду ночами костры во дворах, как у Белого дома,
Где свет отключили и воду. Что делаешь, делай скорее —
Сказал тот же голос.

Потёки еля на камне, подушкой служившем сновидцу,
Блестящий оливковым маслом сновидческий камень,
Идут на посадку огни, и радары теряют из виду их над Антарктидой,
И шар синей плазмы, как мячик, запрыгал по льду: страшно место сие —
Ледяные хребты сумасшествия, бездны резные края,
И фотограф в дымящемся комбинезоне лежит на снегу.

Самочувствие? Чтобы жена не держала его за баклана, Раймон
Предъявляет отрубленную, с волосами свалявшимися,
Трубадура несчастную голову, и — после обморока:
— Господин! угощение было настолько прекрасным,
Что я не притронусь уже ни к какому другому,
И — Итис! — кричат — Итис! Итис! — в открытом окне
Заполoshные ласточки над мостовой.

•

Рыбаки или Ангелы? Кто их зажёт, эти свечи на острове мёртвых,
В покинутом двести ли, триста тому лет назад городке,
В византийской, а может быть, выстроенной крестonosцами церкви?

Проломлена рухнувшим тополем кладка абсиды,
Лоза оплетает алтарь — зелень дикой лозы под луной и десяток свечей:
Рыбаки или Ангелы? Сын полуночной звезды?
Он всё ищет и всё не находит Итаку, и свечи Звезде Моряков,
Одигитрии, ставит за сына и за Пенелопу, за спутников — всех потерял он,
Как тень предсказала: скажи мне, Тиресий...
И тот отвечал, чёрной крови напившись и зыблясь над ямой,
Поодаль струилась то тень Ельпенора, то тень Антиклеи...

•

Эразм, камень глупости и камень веры — скажи,
Отличит ли один от другого тот доминиканец с кувшином?
Присмотримся к троице из «Удаленья камней»:
Операция на свежем воздухе, прозелень северная,
Городок с колесом обозрения (остановиться в огне колесу обозренья),
Хирург Жестяная Воронка, его ассистенты —
Монахи без пола и возраста, ангельский чин,
В кресле Ванька-дурак, его шлёпанцы под электрическим стулом,
И темя придурка, как гостия круглое, как просфора,
И кровища, но терпит: давай, мол, валяй, Жестяная Воронка!

И Книга — обрез золотой, золотые застёжки —
Плитой саркофага лежит на главе у черницы. Что в Книге? Там огненный
Галльского шлема плюмаж, алый плащ и над панцирем алые перья,
И словно идут не солдаты, а маки несёт по реке,
Мерно звякают медные бляхи, калиги, гвоздями подбитые,
Цокают по полированным плитам, плащи Севастийской когорты,
Стоит Вероника, закрыла глаза, отвернулась, белее кувшинки
Средь чёрной воды — черепно-мозговой, полной спирта воды:
Не вода, а открытый огонь маяка деревянного, пламя кричит:
Эй, на шхуне! сюда, в эту бухту, нельзя!

Из пустыни приходит хамсин, кто плюётся, кто над анекдотом заржал,
И проходят епископы, архимандриты, беседа о ситуации в Парфии,
Боевиках в Галилее. Илью призывает? Ну-ну.

Восвояси бредёт Вероника, в тенёчке играющий в кости конвой,
И один обернулся: ну, что? вот, сверчок, твой шесток,
Он не низок тебе, не высок.

•

Льна курящегося (фитиля) не угасит и трости надломленной
(Сломанного тростника) не надломит. Тростник и свирель,
Тот сатир, что тягаться дерзнул с божеством, и статир,
Галилейской проглоченный рыбой: монетка блестит,
Облака — отсыревшей овчиной на кольях, зимой, что ни утро,
То светятся малицы — белые колокола малиц оленеводов,
Толпящихся у магазина: с младенчества спирт в их мозгу,
В черепных их коробках, стоит над игрушечным миром
Прозрачным сияньем.

— Вставайте-ка, друг мой, вставайте! Жена заждалась. Всё в порядке?
— Ну, как вам сказать, если прутья корзины кусает отрубленная голова?

Кровь промыть, и прольётся, как радуга, Город-невеста:
Прозрачное золото, яспис, сапфир, халкидон,
Изумруд, сардоник и сардис, и берилл в основании стен,
И двенадцать жемчужин — двенадцать ворот,
Днём и ночью открытых, а ночи здесь нет —
В изумрудном, как радуга льющемся Городе,
Храма не вижу, но вижу топаз, хризопраз, гиацинт, аметист.

И плывут от росы отсыревшей овчиной на кольях
Среди мерзлоты облака, перья галльского шлема алеют,
И звякают бляхи, где стол стоял — стол и стоит,
Где был жертвенник — жертвенник. Вот твой шесток.
Из подручных камней неотёсанных, не осквернённых тесалом камней,
Ты пытался здесь выстроить мысленный жертвенник, глупость свою,
Словно в Еву ребро, претворить хотел в Город-невесту:
Всё будет разрушено, камня на камне, но Город-невеста!..

•

Что ты потерял — то твоё. Это так же, как хлеб отпустить по воде,
И лишь забереги и салатное небо, промоины света
И ласточки над Руссильоном, вода — византийская смальта,
И «Евины слёзы», как их называют евреи, и слёзы Марии: кого
Ищешь, жено? Разрушено всё. Сад Иосифа Аримафейского,
Сад и гробница, по стенам блуждают лучи,
И в безмерной теряется разности глупый старик:
Кто такой человек, что Ты помнишь его? Перечёл свою оду,
И слёзы текут, благодарны, текут облака, облака обложили озёра,
И солнце читает по азбуке Брайля воды письма —

Ниша

Мне сказали: «Займи эту нишу», —
двое в белом. И быстро ушли.

Денис Новиков

Жалеть в соблазн вводящую конечность,
И пусть собрат и критик видят в ней
Лишь ножку, а не жизни скоротечность,
Не бездну, не элизиум теней.

Больной страны виденье гробовое,
Где загуляли плотник и рыбак,
Шёл снег на пустыри с разрыв-травой,
Светало, нифеля делил барак,
Несла Ока рябиновую ветку,
И, сам себе военный трибунал,
Её в костре из Нового Завета
Заблудший вертолётник прозревал.

И капли те на доньшках ключиц, и
Весь этот джаз... Но Павел написал,
Что никакая тварь не отлучит нас.
Самосожженье? Да, но «Самопал» —
И самовозгорание. Как в нише,
Где двое в белом. Знал ли ты тогда,
Московский школьник? Космос, мол, я слышу..
А гад морских подводный ход? Но тише:
Темна, темна во облацех вода.

Поэзия

Бензоколонки и автостоянки
В пространстве золотом, идущем мимо,
Из алебаstra вазочки и склянки,
И что ей до Сиона, Гаризима —
Блуднице, глуповатой самарянке?

В пространстве золотом, идущем мимо,
Бежит вода, чиста после огранки,
И облако белеет нестерпимо
Над рынком, забытём автостоянки,
Над блокпостами Иерусалима.

Иерусалимский синдром

Старый Город

Крест Святогробского братства красный на белом, рясы
Греков, армян, эфиопов и коптов,
Чёрные шляпы, чёрные лапсердаки, щит Давида
Синий на белом, рыцаря бедного щит и кольчуга в музее
Бенедиктинского монастыря, круги в синеве
Нарезает вертушка: снова буза у Навозных ворот!
Суламита в оливковой форме,
В ночи — Золотые ворота в снегу, в облаках
С лунной подсветкой над амфитеатром
Белых надгробий по склону
Масличной горы, ожерелья огней твоих, Город-невеста,
Твоя тахана-мерказит*, в автобусе Тору читают
При свете мобильных чёрные шляпы, чёрные лапсердаки,
А под утро сквозь сон:
— Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
— Кто Ты, Господи?
— Иисус, которого ты
Гонишь.

На Иордане

И ты хочешь сказать, Филипп, что он вырос
На лепёшках из полбы? Люди, скотина — все вместе,
Оконце под потолком, козьи шкуры,
Семейство сидит на дерюге, лепёшки макает в котёл,
И ты хочешь сказать, нет, ты сам-то хоть понял,
Что ты сказал? Мессия из Назарета!

* Автобусная станция (*ивр.*).

Кинерет, страна Гергесинская

И попросили Его удалиться
Здесьние свинопасы, а византийцы
Воздвигли базилику, не подлежащую восстановлению:
Рухнувших стен вулканический камень,
Напольной мозаики островки,
Словно в иллюминаторе, смальтой крыш
Блестит городок, обломки колон, державших когда-то
Свод с Пантократором, круговращением светил
В стране Гергесинской, где попросили Его
Убраться.

А бесноватый, одетый и в здравом уме, хотел с Ним ходить
По Галилейскому морю, но слышит: иди Расскажи,
Что сотворил тебе Бог. Рассказать? Это им-то?

Огненные самородки в зеркале вод, рыбаки-россияне
Варят уху с матерком. Рассказать? Удаляется лодка,
Тивериада зажгла огни, ночью обещан дождь —

Содержание

<i>Мария Степанова. По направлению к раю</i>	3
--	---

I

Selva oscura	9
Цветочные человечки	10
На длинных волнах	12
Отечество	16
Вечеринка на Ретро FM	17
Море дождей	20
Пересекая Таганскую площадь	21
Auroga Australis	22
Олени	25
Гора Кармель	26
Пустозёрск	28
Пасха	29
Отец Стефан	30
Инструктаж	31
Станция Беллинсгаузен	32
Пересекая экватор	34

II

Блогосфера	37
Телезритель	38
На отпевании NN	47
В мастерской	48

Women on Waves	50
Ямал	52
Инициация	53
Ник. Т-о	56
На север от скифов	57
Мегаполис	59
Делирий	60
Ниша	66
Поэзия	67
Иерусалимский синдром	68

Константин Кравцов. На север от скифов.

редактор:

А. Переверзин

художник:

С. Труханов

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 21.09.2013.

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 4,5.

Тираж 500 экз.



Константин Кравцов родился в 1963 году в Салехарде.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

В 1999 году принял священный сан в Русской православной церкви. Автор книг стихов «Приношение» (1998), «Январь» (2002), «Парастас» (2006), «Аварийное освещение» (2010).

Публиковался в российской и зарубежной периодике, стихи переводились на английский язык. Лауреат Свято-Филаретовского конкурса христианской поэзии в интернете (2003) и премии журнала «Новый Мир» (2012). Живёт в Москве.